

Николай Лесков

Железная воля



Николай Лесков

Железная воля

«Public Domain»

1876

Лесков Н. С.

Железная воля / Н. С. Лесков — «Public Domain», 1876

Содержание

I	5
II	7
III	8
IV	10
V	13
VI	15
VII	18
Конец ознакомительного фрагмента.	19

Николай Лесков

Железная воля

Ржа железо точит.
Русск. поговорка.

I

Мы во всю мочь спорили, очень сильно напирая на то, что у немцев железная воля, а у нас ее нет – и что потому нам, слабовольным людям, с немцами опасно спорить – и едва ли можно справиться. Словом, мы вели спор, самый в наше время обыкновенный и, признаться сказать, довольно скучный, но неотвязный.

Из всех из нас один только старик Федор Афанасьевич Вочнев не приставал к этому спору, а преспокойно занимался разливанием чая; но когда чай был разлит и мы разобрали свои стаканы, Вочнев молвил:

– Слушал я, слушал, господа, про что вы толкуете, и вижу, что просто вы из пустого в порожнее перепускаете. Ну, положим, что у господ немцев есть хорошая, твердая воля, а у нас она похрамывает, – все это правда, но все-таки в отчаяние-то отчего тут приходиться? – ровно не от чего.

– Как не от чего? – и мы и они чувствуем, что у нас с ними непременно будет столкновение.

– Ну что же такое, если и будет?

– Они нас вздуют.

– Ну, как же!

– Да разумеется, вздуют.

– Полноте, пожалуйста: не так-то это просто нас вздуть.

– А отчего же не просто: не на союзы ли вы надеетесь? – Кроме авоськи с небоськой, батюшка мой, не найдется союзов.

– Пускай и так, – только опять: зачем же так пренебрегать авоськой с небоськой? Нехорошо, воля ваша, нехорошо. Во-первых, они очень добрые и теплые русские ребята, способные кинуться, когда надобно, и в огонь и в воду, а это чего-нибудь да стоит в наше практическое время.

– Да, только не в деле с немцами.

– Нет-с: именно в деле с немцем, который без расчета шагу не ступит и, как говорят, без инструмента с кровати не свалится; а во-вторых, не слишком ли вы много уже придаете значения воле и расчетам? Мне при этом всегда вспоминаются довольно циничные, но справедливые слова одного русского генерала, который говорил про немцев: какая беда, что они умно рассчитывают, а мы им такую глупость подведем, что они и рта разинуть не успеют, чтобы понять ее. И впрямь, господа; нельзя же совсем на это не понадеяться.

– Это на глупость-то?

– Да, зовите, пожалуй, глупостью, а пожалуй, и удалью молодого и свежего народа.

– Ну, батюшка, это мы уже слышали: надоела уже нам эта сказка про свежесть и тысячетную молодость.

– Что же? – и вы мне тоже ужасно надоели с этим немецким железом: и железный-то у них граф, и железная-то у них воля, и поедят-то они нас поездом. Тпфу ты, чтобы им скорей все это насквозь прошло! Да что это вы, господа, совсем ума, что ли, рехнулись? Ну, железные они, так и железные, а мы тесто простое, мягкое, сырое, непропеченное тесто, –

ну, а вы бы вспомнили, что и тесто в массе топором не разрубишь, а, пожалуй, еще и топор там потеряешь.

– Ага, это вы насчет старинного аргумента, что, мол, мы всех шапками закидаем?

– Нет, я совсем не об этих аргументах. Таким похвальбам я даю так же мало значения, как вашим страхам; а я просто говорю о природе вещей, как видел и как знаю, что бывает при встрече немецкого железа с русским тестом.

– Верно, какой-нибудь маленький случай, от которого сделаны очень широкие обобщения.

– Да, случай и обобщения; а только, по правде сказать, не понимаю: почему вы против обобщения случаев? На мой взгляд, не глупее вас был тот англичанин, который, выслушав содержание «Мертвых душ» Гоголя, воскликнул: «О, этот народ неодолим». – «Почему же?» говорят. Он только удивился и отвечал: «Да неужто кто-нибудь может надеяться победить такой народ, из которого мог произойти такой подлец, как Чичиков».

Мы невольно засмеялись и заметили Вочневу, что он, однако, престранно хвалит своих земляков, но он опять сделал косую мину и отвечал:

– Извините меня, вы все стали такая не свободная направленская узость, что с вами живому человеку даже очень трудно говорить. Я вам простое дело рассказываю, а вы сейчас уже искать общий вывод и направление. Пора бы вам начать отвыкать от этой гадости, а учиться брать дело просто; я не хвалю моих земляков и не порицаю их, а только говорю вам, что они себя отстоят, – и умом ли, глупостью ли, в обиду не дадутся; а если вам непонятно и интересно, как подобные вещи случаются, то я, пожалуй, вам что-нибудь и расскажу про железную волю.

– А не длинно это, Федор Афанасьич?

– Н-нет! не длинно; это совсем маленькая история, которую как начнем, так и покончим за чаем.

– А если маленькая, так валяйте; маленькую историю можно и про немца слушать.

– Сидеть же смирно – история начинается.

II

Вскоре после Крымской войны (я не виноват, господа, что у нас все новые истории восходят своими началами к этому времени) я заразился модною тогда ересью, за которую не раз осуждал себя впоследствии, то есть я бросил довольно удачно начатую казенную службу и пошел служить в одну из вновь образованных в то время торговых компаний. Она теперь давно уже лопнула, и память о ней погибла даже без шума. Частною службою я надеялся достать себе «честные» средства для существования и независимости от прихоти начальства и неожиданностей, висящих над каждым служащим человеком по известному пункту, на основании которого он может быть уволен без объяснения. Словом, я думал, что вырвался на свободу, как будто свобода так и начинается за воротами казенного здания; но не в этом дело.

Хозяева дела, при котором я пристроился, были англичане: их было двое, оба они были женаты, имели довольно большие семейства и играли один на флейте, а другой на виолончели. Они были люди очень добрые и оба довольно практические. Последнее я заключаю потому, что, основательно разорившись на своих предприятиях, они поняли, что Россия имеет свои особенности, с которыми нельзя не считаться. Тогда они взялись за дело на простой русский лад и снова разбогатели чисто по-английски. Но в то время, с которого начинается мой рассказ, они еще были люди неопытные, или, как у нас говорят, «сырые», и затрачивали привезенные сюда капиталы с глупейшею самоуверенностью.

Операции у нас были большие и очень сложные: мы и землю пахали, и свекловицу сеяли, и устраивались варить сахар и гнать спирт, пилить доски, колоть клепку, делать селитру и вырезать паркетные – словом, хотели эксплуатировать все, к чему край представлял какие-либо удобства. За все это мы взялись сразу, и работа у нас кипела: мы рыли землю, клали каменные стены, выводили монументальные трубы и набирали людей всякого сорта, впрочем, все более по преимуществу из иностранцев. Из русских высшего, по экономическому значению, ранга только и был один я – и то потому, что в числе моих обязанностей было хождение по делам, в чем я, разумеется, был сведущее иностранцев. Зато иностранцы составили у нас целую колонию; хозяева настроили нам довольно однообразные, но весьма красивые и удобные флигеля, и мы сели в этих коттеджах вокруг огромного старинного барского дома, в котором разместились сами принципалы.

Дом, построенный с разными причудами, был так велик и поместителен, что в нем могли свободно и со всякими удобствами расположиться даже два английские семейства. Над домом вверх, в полукруглом куполе была Эолова арфа, с которой, впрочем, давно были сорваны струны, а внизу под этим самым куполом – огромный концертный зал, где отличались в прежнее время крепостные музыканты и певчие, распроданные поодиночке прежним владельцем в то время, когда слухи об эмансипации стали казаться вероятными. Мои господа, англичане, давали в этом зале квартеты из Гайдена, на которые в качестве публики собирали всех служащих, не исключая нарядчиков, конторщиков и счетчиков.

Делалось это в целях «облагорожения вкуса», но только цель эта мало достигалась, потому что классические квартеты Гайдена простолюдинам не нравились и даже нагоняли на них тоску. Мне они откровенно жаловались, что «им нет хуже, как эту гадину слушать», но тем не менее эту «гадину» они все-таки слушали, пока всем нам не была послана судьбою другая, более веселая забава, что случилось с прибытием к нам из Германии нового колониста, инженера Гуго Карловича Пекторалиса. Этот человек прибыл к нам из маленького городка Доберана, что лежит при озере Плау в Мекленбург-Шверине, и самое его прибытие к нам уже имело свой интерес.

Так как Гуго Пекторалис и есть тот герой, о котором я поведу свой рассказ, то я вдамся о нем в небольшие подробности.

III

Пекторалис был выписан в Россию вместе с машинами, которые он должен был привезти, поставить, пустить в ход и наблюдать за ними. Почему наши англичане взяли этого немца, а не своего англичанина и отчего они самые машины заказали в маленьком немецком Доберане – я наверно не знаю. Кажется, это случилось так, что один из англичан видел где-то машины этой фабрики и, облюбовав их, пренебрег некоторыми условиями патриотизма. Карман ведь не свой брат – и над английскими патриотами свои права предъявляет. Впрочем, останавливайте меня, пожалуйста, чтобы я не забалтывался.

Машины назначались для паровой мельницы и лесопильни, для которых уже были готовы здания. Высылкою их и инженера мы очень торопили – и фабрикант известил нас, что машины шли в Петербург морем с самыми последними фрахтами. Об инженере же, которого мы просили послать, чтобы он прибыл ранее машин и мог сделать нужные для них приспособления в постройках, нам писали, что такой инженер нам будет немедленно послан; что зовут его Гуго Пекторалис; что он знаток своего дела и имеет железную волю для того, чтобы сделать все, за что возьмется.

Я был тогда по компанейским делам в Петербурге, и на мою долю пало принять из таможи машины и отправить их в нашу глушь, а также взять с собою Гуго Пекторалиса, который должен был очень скоро приехать и явиться в «Сарептский дом», Асмус Симонзен и К°, – известный нам более под именем «горчичного дома». Но в высылке этих машин и инженера вышло какое-то *qui pro quo*:¹ машины запоздали и пришли очень поздно, а инженер упредил наши ожидания и приехал в Петербург раньше времени. Только что я прибыл в «горчичный дом», чтобы сообщить для ожидаемого Пекторалиса мой адрес, мне отвечали, что он уже с неделю тому назад как проехал.

Это неприятное для меня и очень рискованное для Пекторалиса событие случилось в конце октября, который в тот год, как назло, выдался особенно лют и ненастен. Снегу и морозов еще не было, но шли проливные дожди, сменявшиеся пронизывающими туманами; северные ветры дули так, что, казалось, хотели выдуть мозг костей, а грязь повсеместно была такая невылазная, что можно было представить, какой ад должны представлять теперь грунтовые почтовые дороги. Положение опрометчивого, как мне казалось, иностранца, который в такое время пустился один в такой далекий путь, не зная ни наших дорог, ни наших порядков, – казалось мне просто ужасным, и я в своих предположениях не ошибся. Действительность даже превзошла мои ожидания.

Я осведомился в «горчичном доме»: владеет ли по крайней мере приехавший Пекторалис хотя сколько-нибудь русским языком, – и получил ответ отрицательный. Пекторалис не только не говорил, но и не понимал ни слова по-русски. На мой вопрос: довольно ли с ним было денег, мне отвечали, что ему выданы «за счет компании» прогонные и суточные на десять дней и что он более ничего не требовал.

Дело все осложнялось. Принимая в расчет тогдашний способ езды на почтовых, сопряженный с беспрестанными задержками, – Пекторалис мог застрять где-нибудь и, чего доброго, дойти, пожалуй, до прошения милостыни.

– Зачем вы не удержали его? Зачем не уговорили его хоть подождать попутчика? – пенял я в «горчичном доме», но там отвечали, что они уговаривали и представляли туристу все трудности пути; но что он непоколебимо стоял на своем, что он дал слово ехать не останавливаясь – и так поедет; а трудностей никаких не боится, потому что имеет *железную волю*.

¹ Недоразумение (лат.).

В большой тревоге я написал своим принципалам все, как случилось, и просил их употребить все зависящие от них меры к тому, чтобы предупредить несчастья, какие могли встретить бедного путника; но, писавши об этом, я, по правде сказать, и сам хорошенько не знал, как это сделать, чтобы перенять на дороге Пекторалиса и довести его к месту под охраною надежного проводника. Я сам в эту пору никак не мог оставить Петербурга, где меня задерживали довольно важные получения, и притом он так давно уехал, что я едва ли мог бы его догнать. Если же будет послан кто-нибудь навстречу этой железной воле, то кто поручится, что этот посол встретит Пекторалиса и узнает его?

Я тогда еще думал, что, встретив Пекторалиса, его можно не узнать. Это происходило, конечно, оттого, что немцы, у которых я о нем расспрашивал, не умели сообщить его примет. Аккуратные и бесталанные, они давали мне только общие, так сказать, самые паспортные приметы, которые могут свободно приходиться чуть не к каждому. По их словам, Пекторалис был молодой человек лет от двадцати восьми до тридцати; роста немного выше среднего, худощав, брюнет, с серыми глазами и веселым, твердым выражением лица. Надеюсь, что тут немного такого, по чему бы, встретив человека, можно было сейчас узнать его. Самое рельефное, что я мог удержать в памяти из всего этого описания, это «твердое и веселое выражение», но кто же это из простых людей такой знаток в определении выражений, чтобы сейчас приметить его и – «стой, брат, не ты ли Пекторалис?» Да и, наконец, самое это выражение могло измениться – могло достаточно размокнуть и остыть на русской осенней сырости и стуже.

Выходило, что кроме того, что мною было написано в пользу этого чудака, я более уже не мог для него ничего сделать – и волею-неволею я этим утешился, и притом же, получив внезапно неожиданные распоряжения о поездках на юг, не имел и досуга думать о Пекторалисе. Между тем прошел октябрь и половина ноября; в беспрестанных переездах я не имел о Пекторалисе никакого слуха и возвращался домой только под исход ноября, объехав в это время много городов.

Погода тогда уже значительно изменилась: дожди окончились, стояла сухая холодная ко́лоть, и всякий день порхал сухой мелкий снежок.

Во Владимире я нашел покинутый мною тарантас, который мог еще служить свою службу, так как на колесах было удобнее ехать, чем на санях, – и я тронулся в путь в моем экипаже.

Пути мне от Владимира оставалось около тысячи верст; я надеялся проехать это расстояние дней в шесть, но несносная тряска так меня измаяла, что я давал себе частые передышки и ехал гораздо медленнее. На пятый день к вечеру я насилу добрался до Василева Майдана и тут имел самую неожиданную и даже невероятную встречу.

Не знаю, как теперь, а тогда Василев Майдан была холодная, бесприютная станция в открытом поле. Довольно безобразный, обшитый тесом дом, с двумя казенными колоннами на подъезде, смотрел неприветливо и нелюдимо – и на самом деле, сколько мне известно, дом этот был холоден; но тем не менее я так устал, что решился здесь заночевать.

Несмотря на то, что по мерцавшему в окнах пассажирской комнаты огоньку я мог подозревать, что тут уже есть люди, расположившиеся на ночлег, – решимость моя дать себе роздых была тверда, и за нее-то я и был вознагражден самою приятною неожиданностью.

– Вы встретили здесь Пекторалиса? – перебил некто нетерпеливо рассказчика.

– Кого бы я тут ни встретил, – отвечал он, – я вас прошу ждать, чтобы я вам сам рассказал об этом, и не перебивать меня.

– А если это интересно?

– Тем лучше, вы постарайтесь это записать и отдать для фельетона интересной газеты. Теперь вопрос о немецкой воле и нашем безволии в моде – и мы можем доставить этим небезынтересное чтение.

IV

Отдав приказ своему человеку внести кошму, шубу и другие необходимые вещи, я велел ямщику задвинуть тарантас на двор, а сам ощупью прошел через просторные темные сени и начал ошаривать руками дверь. Насилу я ее нашел и начал дергать, но пазы туго набухли – и дверь не подавалась. Сколько я ни дергал, собственные мои силы, вероятно, оказались бы совершенно недостаточными, если бы мне на помощь не подоспела чья-то добрая рука, или, лучше сказать, добрая нога, потому что дверь мне была открыта с внутренней стороны толчком ноги. Я едва успел отскочить – и тогда увидел пред собою на пороге человека в обыкновенной городской цилиндрической шляпе и широчайшем клеенчатом плаще, на пуговице которого у воротника висел на шнурке большой дождевой зонтик.

Лицо этого незнакомца я в первую минуту не рассмотрел, но, признаться, чуть не обругал его за то, что он едва не сшиб меня дверью с ног. Но что меня удивило и заставило обратить на него особенное внимание – это то, что он не вышел в отворенную им дверь, как я мог этого ожидать, а напротив, снова возвратился назад и начал преспокойно шагать из угла в угол по отвратительной, пустой комнате, едва-едва освещенной сильно оплывшею сальною свечою.

Я обратился к нему с вопросом: не знает ли он, где здесь на этой станции помещается смотритель или какой-нибудь другой жив-человек.

– Ich verstehe gar nichts russisch,² – отвечал незнакомец.

Я заговорил с ним по-немецки.

Он, видимо, обрадовался звукам родного языка и отвечал, что смотрителя нет, что он был, да давно куда-то ушел.

– А вы, вероятно, ждете здесь лошадей?

– О! да, я жду лошадей.

– И неужто лошадей нет?

– Не знаю, право, я не получаю.

– Да вы спрашивали?

– Нет, я не умею говорить по-русски.

– Ни слова?

– Да, «можно», «не можно», «таможно», «подрожно»... – пролепетал он, высыпав, очевидно, весь словарь своих познаний. – Скажут «можно» – я еду, «не можно» – не еду, «подрожно» – я дам подрожно, вот и все.

Батюшки мои, думаю себе: вот антик-то! и начинаю его осматривать... Что за наряд!.. Сапоги обыкновенные, но из них из-за голенищ выходят длиннейшие красные шерстяные чулки, которые закрывают его ноги выше колен и поддерживаются на половине ляжек синими женскими подвязками. Из-под жилета на живот спускается гарусная красная вязаная фуфайка; поверх жилета видна серая куртка из халатного драпа, с зеленою оторочкою, и поверх всего этот совсем не приходящий по сезону клеенчатый плащ и зонтик, привешенный к его пуговице у самой шеи.

Весь багаж проезжающего состоял из самого небольшого цилиндрического свертка в клеенчатом же чехле, который лежал на столе, а на нем довольно простая записная книжка и более ничего.

– Это удивительно! – воскликнул я и чуть не спросил его: «Неужто вы так вот это и едете?», но сейчас же спохватился, чтобы не сказать неловкости – и, обратясь к вошедшему в это время смотрителю, велел подать себе самовар и затопить камин.

² Я ничего не понимаю по-русски (нем.).

Чужестранец все прохаживался, но, увидев, что принесли дрова и зажгли их в камине, вдруг несказанно обрадовался и проговорил:

– Ага, «можно», а я тут третий день – и третий день все сюда на камин пальцем показывал, а мне отвечали «не можно».

– Как, вы тут уже третий день?

– О да, я третий день, – отвечал он спокойно. – А что такое?

– Да зачем же вы сидите здесь третий день?

– Не знаю, я всегда так сижу.

– Как всегда, на каждой станции?

– О да, непременно на каждой; как выехал из Москвы, так везде и сижу, а потом опять еду.

– На каждой станции вы сидите по три дня?

– О да, по три дня... Впрочем, позвольте, я на одной просидел два дня, у меня это записано; но зато на другой четыре, это тоже записано.

– И что же вы делаете на станциях?

– Ничего.

– Извините меня, может быть вы нравы изучаете, заметки ваши пишете?

Тогда это было в моде.

– Да, я смотрю, что со мною делают.

– Да зачем же вы это позволяете все с собою делать?

– Ну... как быть!... – отвечал он, – видите, я не умею по-русски говорить – и я должен всем подчиниться. Я это так себе положил; но зато потом...

– Что же будет потом?

– Я буду всё подчинять.

– Вот как!

– О да; непременно!

– Но как вы могли пуститься в такой путь, не зная языка?

– О, это было необходимо нужно; у нас было такое условие, чтобы я ехал не останавливаясь, – и я еду не останавливаясь. Я такой человек, который всегда точно исполняет то, что он обещал, – отвечал незнакомец – и при этом лицо его, которого я до сих пор себе не определил, вдруг приняло «веселое и твердое выражение».

«Боже, что за чудак!» – думаю себе и говорю: – Но вы извините меня, пожалуйста, разве этак ехать, как вы едете, – значит «ехать не останавливаясь»?

– А как же? – я все еду, все еду; как только мне скажут «можно», я сейчас еду – и для этого, вы видите, я даже не раздеваюсь. О, я очень давно, очень давно не раздеваюсь.

«Чист же, – я думаю, – ты, должно быть, мой голубчик!» И говорю ему:

– Извините, мне странно, как вы собою распорядились.

– А что?

– Да вам бы лучше поискать в Москве русского попутчика, с которым бы вы ехали гораздо скорее и спокойнее.

– Для этого надо было останавливаться.

– Но вы очень скоро наверстали бы эту остановку.

– Я решил и дал слово не останавливаться.

– Но ведь вы, по вашим же словам, на всякой станции останавливаетесь.

– О да, но это не по моей воле.

– Согласен, но зачем же это и как вы это можете выносить?

– О, я все могу выносить, потому что у меня железная воля!

– Боже мой! – воскликнул я, – у вас железная воля?

– Да, у меня железная воля; и у моего отца, и у моего деда была железная воля, – и у меня тоже железная воля.

– Железная воля!.. вы, верно, из Доберана, что в Мекленбурге?

Он удивился и отвечал:

– Да, я из Доберана.

– И едете на заводы в Р.?

– Да, я еду туда.

– Вас зовут Гуго Пекторалис?

– О да, да! я инженер Гуго Пекторалис, но как вы это узнали?

Я не вытерпел более, вскочил с места, обнял Пекторалиса, как будто старого друга, и повлек его к самовару, за которым обогрел его пуншем и рассказал, что узнал его по его железной воле.

– Вот как! – воскликнул он, придя в неописанный восторг, – и, подняв руки кверху, проговорил: – О мой отец, о мой гроссфатер!³ слышите ли вы это и довольны ли вашим Гуго?

– Они непременно должны быть вами довольны, – отвечал я, – но вы садитесь-ка скорее к столу и отогревайтесь чаем. Вы, я думаю, черт знает как назяблись!

– Да, я зяб; здесь холодно; о, как холодно! Я это все записал.

– У вас и платье совсем не такое, как нужно: оно не греет.

– Это правда: оно даже совсем не греет, – вот только и греют, что одни чулки; но у меня железная воля, – и вы видите, как хорошо иметь железную волю.

– Нет, – говорю, – не вижу.

– Как же не видите: я известен прежде, чем я приехал: я сдержал свое слово и жив, я могу умереть с полным к себе уважением, без всякой слабости.

– Но позвольте узнать, кому вы это дали такое слово, о котором говорите?

Он широко отмахнул правой рукою с вытянутым пальцем – и, медленно наводя его на свою грудь, отвечал:

– Себе.

– Себе! Но ведь позвольте мне вам заметить: это почти упрямство.

– О нет, не упрямство.

– Обещания даются по соображениям – и исполняются по обстоятельствам.

Немец сделал полупрезрительную гримасу и отвечал, что он не признает такого правила; что у него все, что он раз себе сказал, должно быть сделано; что этим только и приобретается настоящая железная воля.

– Быть господином себе и тогда стать господином для других – вот что должно, чего я хочу и что я буду преследовать.

«Ну, – думаю, – ты, брат, кажется, приехал сюда нас удивлять – смотри же только, сам на нас не удивись!»

³ Дедушка (нем.).

V

Мы переночевали вместе с Пекторалисом и почти целую ночь провели без сна. Назябшийся немец поместился на креслах перед камином и ни за что не хотел расстаться с этим теплым местом; но он чесался, как блошливый пудель, – и эти кресла под ним беспрестанно двигались и беспрестанно будили меня своим шумом. Я не раз убеждал его перелечь на диван; но он упорно от этого отказывался. Рано утром мы встали, напились чаю и поехали. В первом же городе я послал его с своим человеком в баню; велел хорошенько отмыться, одеть в чистое белье – и с этих пор мы с ним ехали безостановочно, и он не чесался. Я вынул тоже Пекторалиса и из его клеенки, завернул его в запасную овчинную шубу моего человека – и он у меня отогрелся и сделался чрезвычайно жив и словоохотлив. Он во время своего медлительного путешествия не только иззябся, но и наголодался, потому что его порционных денег ему не стало, да он и из тех что-то вначале же высрал в свой Доберан и во все остальное время питался чуть не одною своею железною волею. Но зато он и сделал немало наблюдений и заметок, не лишенных некоторой оригинальности. Ему постоянно бросалось в глаза то, что еще никем не взято в России и что можно взять уменьем, настойчивостью и, главное, «железною волею».

Я очень им был доволен и за себя и за всех обитателей нашей колонии, которым я рассчитывал привезти немалую потеху в лице этого оригинала, уже заранее изловчавшегося произвести в России большие захваты при содействии своей железной воли.

Что он нахватает – вы это увидите из развития нашей истории, а теперь идем по порядку.

Во-первых, этот Пекторалис оказался очень хорошим, – конечно, не гениальным, но опытным, сведущим и искусным инженером. Благодаря его твердости и настойчивости дело, для которого он приехал, пошло превосходно, несмотря на многие неожиданные препятствия. Машины, для установки которых он приехал, оказались изготовленными во многих частях весьма неточно и не из доброкачественного материала. Списываться об этом и требовать новых частей было некогда, потому что заводы ждали перемола хлеба, и Пекторалис много вещей сделал сам. Детали эти с грехом пополам отливали на ничтожном, плохоньком чугунном заводишке в городе у некоего ленивейшего мещанина, по прозванию Сафроныча, а Пекторалис отделявал их, работая сам на самоточке. Уладить все это возможно было действительно только при содействии железной воли. Услуги Пекторалиса были замечены и вознаграждены прибавкою ему жалованья, которое у него поднялось теперь до полуторы тысячи рублей в год.

Когда я объявил ему об этой прибавке, он поблагодарил за нее с достоинством и сейчас же присел к столу и начал что-то высчитывать, а потом уставил глаза в потолок и проговорил:

– Это, значит, не изменяя моего решения, сокращает срок ровно на один год одиннадцать месяцев.

– Что вы считаете?

– Я суммирую... одни мои соображения.

– Ах, извините за нескромность.

– О, ничего, ничего: у меня есть известные ожидания, которые зависят от получения известных средств.

– И эта прибавка, о которой я вам принес известие, конечно, сокращает срок ожидания?

– Вы отгадали: оно сокращает его ровно на год одиннадцать месяцев. Я должен сейчас написать об этом в Германию. Скажите, когда у нас едут в город на почту?

– Едут сегодня.

– Сегодня? очень жаль: я не успею описать все как следует.

– Ну что за вздор! – говорю, – много ли нужно времени, чтобы известить о деле своего компаньона или контрагента?

– Контрагента, – повторил он за мною и, улыбнувшись, добавил: – О, если бы вы знали, какой этот контрагент!

– А что? конечно, это какой-нибудь сухой формалист?

– А вот и нет: это очень красивая и молодая девушка.

– Девушка? Ого, Гуго Карлыч, какие вы за собою грешки скрываете!

– Грешки? – переспросил он и, помотав головою, добавил: – никаких грешков у меня не было, нет и не может быть таких грешков. Это очень, очень важное, обстоятельное и солидное дело, которое зависит от того, когда у меня будет три тысячи талеров. Тогда вы увидите меня...

– На верху блаженства?

– Ну, нет еще, – не совсем наверху, но близко. На верху блаженства я могу быть только тогда, когда у меня будет десять тысяч талеров.

– Не значит ли все это попросту, что вы собираетесь жениться и что у вас в вашем Доберане или где-нибудь около него есть хорошенькая, милая девица, которая имеет частицу вашей железной воли?

– Именно, именно, вы совершенно правы.

– Ну, и вы, как настоящие люди крепкой воли, дали друг другу слово: отложить ваше бракосочетание до тех пор, пока у вас будет три тысячи талеров?

– Именно, именно: вы прекрасно угадываете.

– Да и не трудно, – говорю, – угадывать-то!

– Однако как это, на ваш русский характер, разве возможно?

– Ну что, мол, еще там про наш русский характер: где уже нам с вами за одним столом чай пить, когда мы по-вашему морщиться не умеем.

– Да ведь и это, – говорит, – еще не все, что вы отгадали.

– А что же еще-то?

– О, это важная практика, очень важная практика, очень важная практика, для которой я себя так строго и держу.

«Держи, – думаю, – брат, держи!..» – и ушел, оставив его писать письмо к своей далекой невесте.

Через час он явился с письмом, которое просил отправить, – и, оставшись у меня пить чай, был необыкновенно словоохотлив и уносился мечтами далее горизонта. И все помечтает, помечтает – и улыбнется, точно завидит миллиард в тумане. Так счастлив был разбойник, что даже глядеть на него неприятно и хотелось ему хоть какую-нибудь щетинку всучить, чтобы ему немножко больно стало. Я от этого искушения и не воздержался – и когда Гуго ни с того ни с сего обнял меня за плечи и спросил, могу ли я себе представить, что может произойти от очень твердой женщины и очень твердого мужчины? – я ему отвечал:

– Могу.

– А как вы именно думаете?

– Думаю, что может ничего не произойти.

Пекторалис сделал удивленные глаза и спросил:

– Почему вы это знаете?

Мне стало его жаль – и я отвечал, что я просто пошутил.

– О, вы шутили, а это совсем не шутка, – это действительно так может быть, но это очень, очень важное дело, на которое и нужна вся железная воля.

«Лихо тебя побирай, – думаю, – не хочу и отгадывать, что ты себе загадываешь!..» – да все равно и не отгадал бы.

VI

А между тем железная воля Пекторалиса, приносившая свою серьезную пользу там, где нужна была с его стороны настойчивость, и обещавшая ему самому иметь такое серьезное значение в его жизни, у нас по нашей русской простоте все как-то смахивала на шутку и потешение. И что всего удивительней, надо было сознаться, что это никак не могло быть иначе; так уже это складывалось.

Бесконечно упрямый и настойчивый, Пекторалис был упрям во всем, настойчив и неуступчив в мелочах, как и в серьезном деле. Он занимался своею волею, как другие занимаются гимнастикой для развития силы, и занимался ею систематически и неотступно, точно это было его призвание. Значительные победы над собою делали его безрассудно самонадеянным и порою ставили его то в весьма печальные, то в невозможно комические положения. Так, например, поддерживаемый своею железною волею, он учился русскому языку необыкновенно быстро и грамматично; но, прежде чем мог его себе вполне усвоить, он уже страдал за него от той же самой железной воли – и страдал сильно и осязательно до повреждений в самом своем организме, которые сказались потом довольно тяжелыми последствиями.

Пекторалис дал себе слово выучиться русскому языку в полгода, правильно, грамматично, – и заговорить сразу в один заранее им предназначенный день. Он знал, что немцы говорят смешно по-русски, – и не хотел быть смешным. Учился он один, без помощи руководителя, и притом втайне, так что мы никто этого и не подозревали. До назначенного для этого дня Пекторалис не произносил ни одного слова по-русски. Он даже как будто позабыл и те слова, которые знал: то есть «можно, не можно, таможно и подрожно», и зато вдруг входит ко мне в одно прекрасное утро – и если не совсем легко и правильно, то довольно чисто говорит:

– Ну, здравствуйте! Как вы себе поживаете?

– Ай да Гуго Карлович! – отвечал я, – ишь какую штуку отмочил!

– Штуку замочил? – повторил в раздумье Гуго и сейчас же сообразил: – ах да... это... это так. А что, вы удивились, а?

– Да как же, – отвечаю, – не удивиться: ишь как вдруг заговорил!

– О, это так должно было быть.

– Почему же «так должно»? дар языков, что ли, на вас вдруг сошел?

Он опять немножко подумал – опять проговорил про себя:

– «Дар мужиков», – и задумался.

– Дар *языков*, – повторил я.

Пекторалис сейчас же понял и отлично ответил по-русски:

– О нет, не дар, но...

– Ваша железная воля!

Пекторалис с достоинством указал пальцем на грудь и отвечал:

– Вот это именно и есть так.

И он тотчас же приятельски сообщил мне, что всегда имел такое намерение выучиться по-русски, потому что хотя он и замечал, что в России живут некоторые его земляки, не зная, как должно, русского языка, но что это можно только на службе, а что он, как человек частной профессии, должен поступать иначе.

– Без этого, – развивал он, – нельзя: без этого ничего не возьмешь хорошо в свои руки: а я не хочу, чтобы меня кто-нибудь обманывал.

Хотел я ему сказать, что: «душа моя, придет случай, – и с этим тебя обманут», да не стал его огорчать. Пусть радуется!

С этих пор Пекторалис всегда со всеми русскими говорил по-русски и хотя ошибался, но если ошибка его была такого свойства, что он не то говорил, что хотел сказать, то к каким бы неудобствам это его ни вело, он все сносил терпеливо, со всею своею железною волею, и ни за что не отрекался от сказанного. В этом уже начиналось наказание его самолюбивому самочинству. Как все люди, желающие во что бы то ни стало поступать во всем по-своему, сами того не замечают, как становятся рабами чужого мнения, – так вышло и с Пекторалисом. Опасаясь быть смешным немножечко, он проделывал то, чего не желал и не мог желать, но ни за что в этом не сознавался.

Скоро это, однако, было подмечено, и бедный Пекторалис сделался предметом жестоких шуток. Его ошибки в языке заключались преимущественно в таких словах, которыми он должен был быстро отвечать на какой-нибудь вопрос. Тут-то и случалось, что он давал ответ совсем противоположный тому, который хотел сделать. Его спрашивали, например:

– Гуго Карлович, вам послабее чаю или покрепче?

Он не вдруг соображал, что значит «послабее» и что значит «покрепче», и отвечал:

– Покрепче; о да, покрепче.

– Очень покрепче?

– Да, очень покрепче.

– Или как можно покрепче?

– О да, как можно покрепче.

И ему наливали чай, черный как деготь, и спрашивали:

– Не крепко ли будет?

Гуго видел, что это очень крепко, – что это совсем не то, что он хотел, но железная воля не позволяла ему сознаться.

– Нет, ничего, – отвечал он и пил свой ужасный чай; а когда удивлялись, что он, будучи немцем, может пить такой крепкий чай, то он имел мужество отвечать, что он это любит.

– Неужто вам это нравится? – говорили ему.

– О, совершенно зверски нравится, – отвечал Гуго.

– Ведь это очень вредно.

– О, совсем не вредно.

– Право, кажется, – вы это... так...

– Как так?

– Ошиблись сказать.

– Ну вот еще!

И тогда как он терпеть не мог крепкого чаю, он уверял, что «зверски» его любит – и его, один перед другим усердствуя, до того наливали этим крепким чаем, что этот так часто употребляемый в России напиток сделался мучением для Гуго; но он все крепился и все пил теин вместо чая до тех пор, пока в один прекрасный день у него сделался нервный удар.

Бедный немец провалялся без движения и без языка около недели, но при получении дара слова – первое, что прошептал, это было про железную волю.

Выздоровев, он сказал мне:

– Я доволен собою, – признался он, пожимая мою руку своею слабою рукою.

– Что же вас так радует?

– Я себе не изменил, – сказал он, но умолчал, в чем именно заключалась радовавшая его выдержка.

Но с этим его чайные муки кончились. Он более не пил чаю, так как чай ему с этих пор был совершенно запрещен, и для поддержки своей репутации ему оставалось только мнимо жалеть об этом лишении. Но зато вскоре же на его голову навязалась точно такая же история с французской горчицей диафан. Не могу вспомнить, но, вероятно, по такому же точно случаю, как с чаем, Гуго Карлович прослыл непомерно страстным любителем французской

горчицы диафан, которую ему подавали решительно ко всякому блюду, и он, бедный, ел ее, даже намазывая прямо на хлеб, как масло, и хвалил, что это очень вкусно и зверски ему нравится.

Опыты с горчицею окончились тем же, что ранее было с чаем: Пекторалис чуть не умер от острого катара желудка, который хотя был прерван, но оставил по себе следы на всю жизнь бедного стойка до самой его трагикомической смерти.

Было с ним много и других смешных и жалких вещей в этом же роде: всех их нет возможности припомнить и пересказать; но остаются у меня в памяти три случая, когда Гуго, страдая от своей железной воли, никак не мог уже говорить, что с ним делается именно то, чего ему хотелось.

Это была фаза, в которой он должен был дойти до апогея – и потом, колеблясь, идти к своему перигею.

VII

Новая фаза эта началась в первое лето, которое Пекторалис проводил с нами, и началась она тем, что Гуго изобрел себе необыкновенный экипаж. Нужно вам знать, что от нас до города считалось верст сорок, но была одна лесная тропинка, которою путь сокращался едва ли не наполовину. Только зато тропа эта была почти непроездна, – по ней едва-едва, и то с великим трудом, езжали на своих двуколесках крестьяне. Гуго хотел ездить ближе и не хотел трястись на мужицкой двуколеске, а сварганил себе нечто вроде колесницы: это было простое кресло с пружинной подушкой, поставленное на раму, укрепленную на передке старых дрожек. Экипаж был мудрен и имел такой вид, что ездившего на нем Пекторалиса мужики прозвали «мордовским богом»; но что всего хуже – кресло, лишенное своего комнатного покоя, ни за что не хотело путешествовать, оно не выдерживало тряски и очень часто соскакивало с рамы, и от этого не раз случалось, что лошадь Гуго прибегала домой одна, а потом через час или два плелся бедный Гуго, таща у себя на загорбке свое кресло. Бывало и хуже: раз он соскочил со своим креслом в болоте и сидел там, пока его вытащили и привезли в самом жалостном виде.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.